

Илья Петрушич
Осовец Книга

6 Память



Илья Петрухин
Осовец Книга 6 Память

«Автор»

2026

Петрухин И.

Осовец Книга 6 Память / И. Петрухин — «Автор», 2026

Лето 1915 года. Первая мировая война. Русская армия откатывается на восток, оставляя за спиной растянутые фланги и выжженную пустошь. Крепость Осовец — ещё недавно неприступный щит империи — превращается в остров посреди немецкого тыла. Снабжение прекращено, пути взорваны, надежды на подкрепления нет. В этом аду встречаются двое: подполковник Кирилл Львов, талантливый военный инженер, для которого крепость стала домом и делом всей жизни, и Ли Цзи, китайская сестра милосердия с холодным аналитическим умом и железной выдержкой. Вместе они держат оборону — он чертит карты и укрепляет стены, она штопает тела и ведёт учёт раненых.

© Петрухин И., 2026

© Автор, 2026

Илья Петрухин

Осовец Книга 6 Память

Лето 1915 года выдалось душным, как натопленная баня. Сводки с фронта приходили теперь редко, словно их кто-то душил ещё на подступах к крепости. Они становились всё короче и мрачнее, пока не превратились в одно слово: «Отходим». Русская армия катилась на восток, оставляя за собой растянутые, как порванные струны, фланги и выжженную пустошь, где дымились брошенные обозы.

Осовец, ещё недавно бывший щитом империи, внезапно оказался островом в чужом, глухом немецком тылу. Снабжение умерло не сразу — оно захрипело, задергалось и испустило дух с последним паровозным гудком. Пришли ещё два состава: один — доверху набитый снарядами, другой — сухарями да солониной. После этого железнодорожную ветку взорвали отступавшие саперы. Крепость затянула пояса и замерла в режиме строжайшей экономии, считая каждый патрон и каждую щепку для растопки.

Сестра милосердия Ли Цзи работала сутками. Переполненный лазарет в казематах бывшего артиллерийского двора пропах карболкой, кровью и той особенной, сладковатой вонью, которую даёт только гниющая плоть. Раненых с передовой привозили всё меньше — не потому, что их становилось мало, а потому, что вывозить их стало нечем и некуда. Но Ли Цзи не знала покоя. Теперь к ней поступали не столько тела, сколько искалеченные души, которые смотрели на беленый потолок остановившимися, невидящими глазами.

Она первая заметила страшную тенденцию. Сначала мельком, потом — настойчивым, профессиональным взглядом врача, привыкшего искать закономерности там, где обычный человек видит лишь хаос.

Всё чаще под её ножницы попадали пулевые и осколочные ранения, нанесённые не в грудь и не в лоб. В спину. Чуть выше поясницы, между лопаток, в затылок — туда, куда не поворачивается солдат, идущий в атаку. Это были не раны воинов, павших с оружием в руках. Это были раны беглецов. Расстрелянных своими же за панику. За то, что побежали первыми. Или просто попавших под шальную очередь во время беспорядочного, животного отступления, когда уже никто не разбирал, где свой, где чужой.

Её ум — аналитический, острый, отточенный годами учёбы в харбинской гимназии, а потом и на курсах сестер милосердия — сразу же переключился в режим диагностики. Ли Цзи стала вести учёт. Молча, аккуратно, на обрывках бумаги для перевязок. Она записывала локализацию раны, характер входного отверстия, показания раненых — тех, кто ещё мог говорить. Как вела бы учёт симптомов новой, неизвестной болезни.

Результат её наблюдений оказался неутешительным.

Процент таких ранений рос в геометрической прогрессии. Если в мае это были единицы — три, четыре случая на сотню, которые можно было списать на случайность, на «огонь с фланга», то к середине лета каждый пятый поступивший к ней имел пулю или осколок в спине.

Ли Цзи отложила карандаш и долго смотрела на свои записи. За окном каземата, где-то за тремя линиями укреплений, глухо ухнуло — немцы пробовали новую гаубицу. Она подумала о том, что Осовец умирает не от голода и не от бомб. Он умирает от страха. А страх, как она знала ещё по Харбину, заразен и неизлечим, если не отсечь больное место.

Она перевернула листок и записала дату: 15 июля 1915 года.

Однажды вечером Кирилл сам пришёл к ней. Не посыльный, не вестовой — он. Обветренный, с запахом пороховой гари и махорки, вьёвшейся в шинель так глубоко, что не вытравить никаким кипячением. В лазарет он заглядывал редко — не любил этот запах смерти вперемишку с надеждой. Но сегодня пришёл.

Ли Цзи стояла у стола, перебирая склянки с йодоформом. Увидела его — и не спросила о делах. Не спросила, как держится фронт, не спросила, сколько ещё продержится крепость. Она вообще ничего не сказала.

Вместо этого она молча подошла к нему, взяла за локоть — холодную, жилистую руку — и повела за собой. Сквозь полумрак лазарета, мимо стонов и редкого, прерывистого дыхания. Остановилась у ряда коек в дальнем конце, там, где раненные лежали лицом к стене.

Она просто указала взглядом.

На спины солдат. Замотанные кровавыми бинтами. На многих повязки проступали свежими пятнами — значит, перевязывали только что, но кровь уже сочилась снова. Пулевые отверстия угадывались без слов: маленькие, аккуратные, почти не оставляющие сомнений.

Кирилл смотрел. Долго. Молча.

И понял всё без единого звука.

Его собственные худшие опасения — те, что он гнал от себя, цепляясь за карты, за сводки, за последние утешительные донесения из штаба, — теперь обрели плоть. Они лежали здесь, на грязных простынях, и дышали с хрипом. Физическое, жуткое подтверждение его страхам оказалось хуже любой бумаги. Бумагу можно оспорить, усомниться в цифрах. Спину с пулевым отверстием — нельзя.

Он сглотнул. Кивнул. И пошёл за ней дальше.

Позже, в их каземате — тесном, сыром, где на столе всегда горела коптилка из гильзы, — Ли Цзи наконец заговорила. Она не жаловалась. Не плакала. Не требовала каких-то действий.

Она просто выложила перед ним свои записи.

Листки, исписанные мелким, каллиграфическим почерком — дань харбинской школе. Даты. Количество. Характер ранений. Примерные дистанции, с которых были сделаны выстрелы (осколочные ранения в спину она отделила от пулевых — и тех, и других хватало). Её голос, когда она заговорила, был спокоен и бесстрастен. Голос врача на консилиуме, который перечисляет симптомы безнадежного больного, потому что скрывать уже нечего.

— Ранения в спину, — сказала она, водя пальцем по строчкам. — За последнюю неделю — сорок семь случаев. Сорок семь, Кирилл. Это не считая тех, кто умер по дороге или не поступил вовсе.

Она подняла на него глаза — тёмные, усталые, без блеска.

— Это не случайность. Это симптом. Симптом развала.

Кирилл молчал. Он привык к артиллерийскому гулу, к свисту пуль, к треску рвущейся шрапнели. Но тихий, ровный голос этой женщины, перечисляющей пулевые отверстия в солдатских спинах, резал сильнее любого снаряда.

Её холодный, медицинский анализ отрезвлял лучше самых гневных тирад. Скажи она ему: «Трусы бегут, расстреливайте заградотрядами!» — он бы ещё возразил, сослался бы на усталость, на невозможность сдержать лавину. Но она не говорила как патриот. Не говорила как женщина, потерявшая веру в армию. Она говорила как диагност. Как патологоанатом, который вскрывает труп и констатирует причину смерти.

Организм под названием «фронт» умирал. И умирал он не от внешнего врага.

— Крепость обречена, — произнесла она тихо.

Слова повисли в воздухе — тяжёлые, бесповоротные, как приговор военно-полевого суда. Она не сказала это с отчаянием. Не заламывала рук. Не истерила. В её голосе звучала лишь горькая ясность — та самая, что приходит к человеку, который уже видел, как рушатся империи.

Кирилл знал, что она видела. Харбин. Русско-японскую. Беженцев, текущих по дорогам, как кровь из перерезанной артерии. Она помнила, как трещали по швам государства. И сейчас смотрела на это снова.

Он накрыл её руку своей — горячей, прокуренной ладонью. Сказать было нечего. Она и так знала всё лучше любого штабного офицера.

Снаружи, за толщиной кирпича и земли, снова ударила немецкая гаубица. Каземат дрогнул, с потолка посыпалась известковая пыль.

Ли Цзи не вздрогнула. Только перевернула листок и написала в своём журнале ещё одну цифру.

Сорок восьмой.

Он вернулся в свой блиндаж, долго сидел над картами, водил пальцем по линиям обороны, пересчитывал резервы, прикидывал углы флангового огня. Цифры не ввали. Его укрепления — бетонные капониры, системы рвов, пулемётные гнёзда, всё, что он строил, чертил, отстаивал перед начальством, — всё это становилось бесполезным.

Потому что за спиной не было единой линии фронта.

Он вдруг остро, почти физически ощутил это: крепость превратилась не в щит, а в камень, торчащий из воды. Немцы не пойдут в лоб — зачем? Они обойдут, сомкнутся, отрежут последние тропы. И тогда Осовец станет не твердыней, а мишенью. Большой, неповоротливой, напичканной людьми мишенью, которую рано или поздно возьмут в клещи.

Кирилл отодвинул карты. Смотреть на них больше не было сил.

Нарастающее чувство обречённости оказалось хуже любого обстрела. Оно не убивало сразу — оно просачивалось медленно, как вода в трюм обречённого корабля. И атмосфера в крепости начала меняться.

Исчезла решимость. Та самая, что держала солдат в окопах, когда по шву шёл «Кольт» и земля вставала дыбом. Ушла она не в один день — испарилась по каплям. Сначала перестали спорить о тактике. Потом перестали смеяться в коротких передышках между налётами. А потом наступила тишина — не мирная, а та, что бывает перед концом.

Солдаты сидели у бойниц с отсутствующими лицами, курили последнюю махорку и смотрели на восток. Туда, где ушла армия. Туда, где их бросили. Никто не говорил этого вслух, но каждый чувствовал: они стали лишними. Расходным материалом, которому забыли дать приказ отступить.

— Бросили, ваше благородие, — сказал ему однажды старый унтер, глядя в землю. — Как щенков в реке.

Кирилл не нашёлся, что ответить. Потому что унтер был прав.

Даже подвиг «атаки мертвецов» — то, о чём теперь начинали шептаться по окопам, — казался теперь не победой. Не триумфом. Не тем славным мгновением, которое переписывает историю.

Это была последняя вспышка света перед неминуемой тьмой.

Короткая, ослепительная — и бессмысленная, как спичка, зажжённая в затопленной шахте. Слава пришла к ним слишком поздно. Или слишком рано. Она стала не наградой, а предвестником гибели. О них узнают, о них напишут, но это случится уже после. Когда крепость падёт. Когда их кости смешаются с известкой казематов.

Кирилл понимал это холодным, трезвым умом штабиста. И ненавидел себя за это понимание

В этом море тотального пессимизма — чёрном, безбрежном, затягивающем, — они остались друг у друга единственной опорой.

Кирилл и Ли Цзи.

Их союз, рождённый в огне первых бомбардировок, теперь закалялся в ледяной воде безнадёжности. Это была иная закалка — не та, что делает сталь твёрже, а та, что не даёт ей

раскрошиться от одного удара. Он приходил к ней в лазарет не за утешением — за воздухом. За тем глотком реальности, который не был отравлен ложным оптимизмом.

Он пытался находить решения. По ночам, при свете коптилки, чертил планы прорыва — стрелки на картах, пункты путей, расчёты времени. Сводил дебет с кредитом: сколько людей, сколько патронов, сколько вёрст до своих. Выходило всегда одно: почти невозможно. Почти — это слово, на котором он держался. Почти — значит, есть шанс.

А она находила слова.

Не чтобы обмануть его сладкой ложью. Не чтобы сказать «всё будет хорошо» — Ли Цзи никогда не лгала, даже во спасение. Она находила слова, чтобы поддерживать в нём волю к жизни. Когда его идеи разбивались о суровую реальность — о ту же самую суровую реальность, что лежала на койках с простреленными спинами, — она молча садилась рядом, брала его за руку и говорила:

— Ты ещё жив. Пока ты чертишь — ты жив.

И этого оказывалось достаточно, чтобы пережить ещё одну ночь.

А утром — новый обстрел. Новые раненые. Новая цифра в её журнале.

И тихий, страшный отсчёт дней, которых у крепости оставалось всё меньше.

Они вдвоём продолжали делать свою работу.

С идеальной, почти механической точностью. Он — инспектировал посты, проверял амбразуры, поправлял подрамокшие мешки с песком, считал патроны и снаряды, которых с каждым днём становилось меньше. Она — делала перевязки, ампутировала, вытаскивала осколки, записывала имена умирающих в потрёпанный журнал.

Со стороны можно было подумать, что ничего не изменилось. Что крепость по-прежнему держится. Что порядок нерушим.

Но это была маска.

За их профессиональной выправкой, за ровными голосами, за чёткими рапортами и спокойными движениями сестры милосердия скрывалась общая, глубокая трещина. Она прошла через них обоих — не сразу, не с одним ударом, а постепенно, как трещина в крепостной стене от многомесячной бомбардировки. Сначала незаметная, потом — зияющая, через которую уже видно чёрную пустоту.

Кирилл больше не чертил планов прорыва. Он понял, что они бесполезны. Ли Цзи перестала удивляться количеству пуль в спинах — она просто фиксировала цифры, как метеоролог фиксирует падение давления перед ураганом.

Немцы, в отличие от них, не торопились.

Они понимали ситуацию лучше любого русского штаба. Их разведка работала безупречно — агентурная, воздушная, радио-перехват. Они знали, что Осовец отрезан. Что снабжения нет. Что резервов нет. Что за спиной у крепости — пустота и паника.

Поэтому они не штурмовали.

Зачем? Бросать пехоту на бетонные форты, на пулемётные гнёзда, на людей, которые ещё могут стрелять? Это было бы глупо. Немцы славились не только дисциплиной, но и умением считать.

Они брали крепость измором.

Медленно. Методично. Без лишней крови — своей крови. Они просто ждали. Каждый день, каждая неделя работали на них. Голод, болезни, падение духа — вот их главные союзники.

Их самолёты-разведчики появлялись в небе каждое утро. Тяжёлые, неуклюжие «Таубе» с железными крестами на крыльях. Они кружили над Осовцом неторопливо, почти лениво, на недостижимой высоте. Не бомбили. Не стреляли. Просто смотрели.

Как стервятники.

Наблюдая за агонией.

Однажды Ли Цзи стояла у входа в лазарет, курила — странная привычка, которой она обзавелась здесь, на войне, хотя в Харбине никогда не притрагивалась к табаку. Кирилл подошёл к ней, чтобы доложить о состоянии северного фаса (ничего хорошего), но она не дала ему открыть рта.

Она смотрела вверх.

Там, в бледно-голубом небе, медленно чертил свой круг немецкий разведчик. Чёрный крест на крыле горел на солнце, как печать.

— Они ждут, — сказала она тихо. Не ему — скорее себе. — Ждут, когда мы сами умрём.

Кирилл замер.

Она повернула к нему своё бледное, осунувшееся лицо. Глаза — тёмные, глубокие, без дна — смотрели спокойно. Страшно спокойно.

— Зачем тратить патроны? — закончила она.

И улыбнулась. Невесёлой, горькой улыбкой человека, который всё понял раньше всех.

Эта фраза повисла между ними, как итог.

Итог всего происходящего.

Они больше не были солдатами, отбивающими атаки. Не были защитниками крепости в том героическом смысле, который вкладывают в это слово газетные репортёры. Они были другими.

Они были обречёнными.

Приговорёнными к смерти не по приговору суда, не под дулом расстрельной команды, а по приговору географии и логистики. Их палач не торопился. У него было время. У него были снаряды, продовольствие, свежие полки. У них — ничего. Только бетон, ржавеющие пушки и всё растущее число пулевых ранений в спину.

Палач терпеливо ждал. И они это знали.

Чувство обречённости перестало быть абстрактным.

Оно стало физическим — как голод, который выкручивает желудок по утрам. Как холод, который пробирается под шинель в промозглые августовские ночи. Оно проникло в еду — в жидкий баланду, которую варили из последней конины. Оно проникло в сны — тяжёлые, липкие, из которых просыпаешься с криком.

Оно проникло в кости.

Кирилл чувствовал его, когда поднимался по ступеням форта. Ли Цзи чувствовала его, когда брала в руки скальпель. Оно стало пятым элементом бытия — таким же реальным, как воздух, вода, огонь и земля.

И главными провидцами этой катастрофы стали не генералы в штабах.

Не те, кто сидел в глубоком тылу, чертил жирные стрелки на картах и рассылал бодрые сводки в Петроград. Не те, кто говорил о «стойкости духа» и «священном долге», никогда не нюхав карболовой крови.

Главными провидцами стали русский инженер и китайская медсестра.

Они читали диагноз не по гадательным книгам и не по патриотическим телеграммам. Они читали его по ранам на спинах солдат. По цифрам в её журнале. По пустоте в его картах. По глазам людей, которые перестали смотреть на запад — и уставились на восток, туда, где их бросили.

Их пророчество было самым страшным из возможных.

Потому что оно основывалось не на догадках. Не на предчувствиях. Не на истерике или панике. Оно основывалось на фактах. На сухих, неумолимых, запрототолированных фактах, от которых не спрятаться, не отмахнуться, не сказать «мне это только кажется».

Факты говорили: крепость умрёт.

Не сегодня. Не завтра. Но скоро.

И они — двое, стоящие на продуваемом всеми ветрами плацу, глядящие на стервятника в небе, — были единственными, кто знал правду. Не догадывался. Знал.

Кирилл молча взял её за руку. Холодную, тонкую, испачканную йодом.

— Тогда будем жить, пока можем, — сказал он.

Она ничего не ответила. Только крепче сжала его пальцы.

Над ними всё кружил немецкий разведчик, терпеливый, как смерть.

В штаб крепости шифровка пришла глубокой ночью.

Связист принял её молча, склонившись над аппаратом Юза, — лицо каменное, руки не дрожат, потому что на войне руки не имеют права дрожать. Но что-то в его спине, в том, как он замер на секунду, прежде чем начать записывать, выдавало: это не обычная сводка. Это не «противник активничает» и не «ожидаем подкреплений».

Депешу передали дежурному офицеру. Тот прочитал. Перечитал. Аккуратно положил лист на стол, словно боялся, что бумага взорвётся. Вышел в коридор.

Весть не огласили сразу. Никто не бил в колокол, не собирал собрание, не строил гарнизон на плацу. Но по офицерскому собранию — по этому тесному, прокуренному помещению с закопчёнными сводами — пробежал электрический ток тревоги.

Люди чувствуют такие вещи без слов.

Кто-то перестал смеяться над анекдотом на полуслове. Кто-то отложил недопитый стакан чая. Кто-то просто поднял голову и посмотрел на дверь, за которой исчез дежурный. Все поняли. Все ощутили спинами, затылками, какой-то древней, животной частью сознания: произошло что-то необратимое.

То, что перечеркнёт всё.

Генерал Бржозовский сидел в своём кабинете — маленькой, тесной комнате с низким потолком, где на стенах висели карты, исчерченные красными и синими карандашами. Когда ему принесли расшифрованную депешу, он взял её длинными, холёными пальцами — пальцами человека, который привык держать перо, а не шашку, но который за эти месяцы научился держать и то и другое.

Он читал.

Одна минута. Вторая. Третья.

Его плечи — всегда такие прямые, подтянутые, офицерские — медленно, почти незаметно, ссутулились. Не обвисли, нет. Генерал не позволял себе такого. Но какая-то внутренняя пружина, державшая его эти долгие месяцы осады, лопнула. Тихо. Без звука.

Он положил депешу на стол, повернулся к запylённому окну, за которым чернела августовская ночь. Долго молчал.

Потом, не оборачиваясь, произнёс тихо, сокрушённо — так говорят приговорённые к смерти, когда просят священника:

— Вызвать ко мне начальника медицинской службы.

Пауза.

— И сестру Ли Цзи

В лазарете Ли Цзи только что закончила ампутацию. Солдату — молодому, с невидящими глазами — отхватило осколком руку выше локтя. Кости раздробило в труху, спасать

было нечего. Она работала быстро, чисто, как учили в Харбине. Скальпель, зажимы, пила Джигли — всё по правилам, всё как в учебнике.

Кровь на переднике ещё не высохла. Пот на лице смешался с известковой пылью, которая сыпалась с потолка при каждом разрыве.

Когда за ней пришли — вестовой, запыхавшийся, с горящими глазами, — она не спросила «зачем». Не побледнела. Не выронила инструмент.

Она аккуратно положила скальпель на стерильную салфетку, сняла перчатки, вытерла руки о фартук — и только потом подняла глаза.

По её лицу, испачканному кровью и потом, не пробежало и тени удивления.

Ни одного мускула. Ни одной морщинки, выдавшей бы эмоцию.

Она уже давно ожидала этого вызова. Месяц. Два. С того самого дня, когда начала считать пулевые ранения в спину. Она просто не знала, в какой форме он придёт — в виде ли немецкого снаряда, прошившего командный бункер, или в виде вот этого тихого, перепуганного вестового с дрожащими губами.

Теперь знала.

— Иду, — сказала она. И шагнула во тьму коридора.

Генерал Бржозовский не смотрел ей в глаза, когда она вошла.

Он стоял у стола, положив ладонь на депешу, как на Евангелие. Начальник медицинской службы — пожилой, седой, с орденом Святого Владимира на кителе — уже был здесь. Он стоял навытяжку, но взгляд его был растерянным. Он тоже не понимал, зачем вызвали китайку. Но догадывался.

Ли Цзи остановилась у порога. Не щёлкнула каблуками — не умела и не считала нужным. Просто встала прямо, сложила руки перед собой, опустила глаза.

Тишина в кабинете была такой плотной, что можно было резать ножом.

Генерал молча протянул ей депешу.

Она взяла. Её взгляд — спокойный, внимательный, привыкший читать не только рецепты, но и человеческие лица — скользнул по строчкам. Текст был коротким. Военные не любят многословия, когда речь идёт о смерти.

«...ввиду стратегической невозможности дальнейшей обороны... приказываю гарнизону оставить крепость Осовец... предварительно уничтожив всё, что не может быть вывезено... артиллерию — взорвать, запасы — сжечь, укрепления — привести в негодность... срок — двое суток...»

Воздух вышел из её лёгких.

Не выдох — именно вышел, как из проколотого меха. В один долгий, беззвучный миг.

Её лицо осталось абсолютно непроницаемым. Никто из стоявших в кабинете — ни генерал, ни начальник медслужбы, ни адъютант в углу — не смог бы прочитать на нём ничего. Ни страха. Ни облегчения. Ни гнева. Ни боли.

Она — врач, принимающий смертельный диагноз для своего пациента.

Без истерик. Без «почему это случилось со мной». Только констатация факта. Организм, который она пыталась спасти эти месяцы — этот бетонный, израненный, истекающий кровью организм под названием «Осовец», — умер. Осталась только формальность: подписать свидетельство о смерти.

Профессиональная сдержанность стала её последним щитом.

Она сложила депешу аккуратным квадратом — ровно, как учили в гимназии — и вернула генералу.

— Я поняла, ваше превосходительство, — сказала она тихо. Голос не дрогнул. — Что требуется от медицинской службы?

Бржозовский наконец поднял на неё глаза. Усталые, покрасневшие, но сухие. Он посмотрел на её лицо — в кровавых разводах, в потёках пота — и на секунду замешкался. Он ожидал слёз. Или вопроса. Или хотя бы тени ужаса.

Он не дождался.

— Готовьте раненых к эвакуации, — сказал он глухо. — Тех, кто может идти — поведёте с собой. Тех, кто не может...

Он не договорил.

Ли Цзи кивнула. Она поняла и без слов. В Осовце не осталось подвод. Не осталось лошадей. Не осталось бензина для автомобилей. Те, кто не мог двигаться сами, останутся здесь. Навсегда.

— Будет исполнено, — сказала она.

Развернулась и вышла.

В коридоре, уже за дверью, она прислонилась спиной к холодной кирпичной стене. Закрыла глаза. Всего на одну секунду.

Потом выпрямилась, поправила косынку и пошла обратно в лазарет — готовить своих пациентов к последнему, самому страшному приказу.

Она держала депешу в руках ровно столько, сколько нужно, чтобы цифры и слова уложились в голове в стройную, чёткую систему приказов.

— Я понимаю, — сказала она ровным голосом, возвращая бумагу генералу. Ни одного лишнего звука. Ни одной дрожи. — Эвакуация тяжелораненых будет организована в первую очередь. Потребуется все доступные повозки и носильщики.

Её ум уже переключился.

Это был автоматизм, выработанный годами работы в перевязочной, когда шок от вида разорванного тела надо было гасить немедленно — не дав себе ни секунды на жалость или ужас. Спасаться от потрясения можно было только одним способом: работой. Практическими задачами. Списком того, что нужно сделать, кого вывезти, кому сказать, куда побежать.

Голова считала. Голова планировала. Голова не позволяла сердцу взять верх.

Бржозовский кивнул. Он смотрел куда-то мимо неё — в стену, в карту, в щель между половицами. Всё, что угодно, только не в её глаза.

— Да. Сделайте это.

Пауза. Тяжёлая, как бетонная плита.

— И... приготовьтесь к тому, что не всех можно будет забрать.

Он произнёс эти слова тихо. Почти шёпотом. Для самого себя — не для неё. Ли Цзи увидела, как дёрнулся его кадык, как побелели костяшки пальцев, сжимавших край стола.

Это был самый страшный приказ в его жизни.

Она знала это. И ничего не могла сделать — ни облегчить, ни разделить эту тяжесть. Только принять. Как принимала всё последние месяцы.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Она развернулась и вышла.

Её шаги по коридору штаба были мерными и чёткими. Каблуки — негромко, в такт. Она держалась так же прямо, как всегда. Спина — струна, плечи — расправлены. Никто из встречных офицеров, никто из писарей, склонившихся над бумагами, не смог бы прочитать на её лице ничего, кроме обычной, привычной сосредоточенности.

Она вышла на крыльцо.

Августовский воздух был тяжёлым, влажным, пахло гарью и прелой листвой. Где-то за фортами редкими, ленивыми хлопками была немецкая артиллерия — не штурм, так, напоминание о себе.

Она пересекла двор.

Там солдаты чинили стену — пролом после вчерашнего попадания. Кто-то таскал кирпичи, кто-то месил раствор, кто-то просто стоял, опершись на лопату, и курил. Обычная гарнизонная суета. Люди ещё не знали.

Никто из них ещё не ведал о приговоре.

Они смотрели на неё — на хрупкую женщину в запачканном кровью переднике — и видели просто сестру милосердия, идущую по своим делам. Они не могли знать, что эта женщина только что держала в руках бумагу, которая перечеркнула все их надежды, все их жертвы, все эти месяцы осады.

Ли Цзи видела их лица.

Молодые — почти мальчишки, с пушком над губой. Старые — обветренные, в морщинах, с сединой в усах. Уставшие. Грязные. С замотанными руками и повязками на головах.

Она видела их — и чувствовала, как внутри у неё всё сжимается.

В тугой, болезненный комок.

Не в сердце — в груди, под рёбрами, где-то там, куда она давно запретила себе заглядывать. Комок рос, давил на диафрагму, мешал дышать. Но она не остановилась. Не опустила голову. Не закрыла глаза.

Она прошла мимо них — прямо, как по струне — и толкнула дверь лазарета.

Внутри было всё как обычно.

Шум, стоны, суета. Санитары сновали между койками с тазами и бинтами. Кто-то кричал в бреду. Кто-то тихо, по-бабьи, подвывал от боли. Лампы коптели, воздух был спёртым, пахло карболкой, гноем и потом.

Ничего не изменилось.

Мир внутри лазарета продолжал вращаться по своим законам, потому что раненые не ждут. Боль не берёт выходных. Смерть не объявляет перерыв на эвакуацию.

Ли Цзи сделала несколько шагов вглубь.

Остановилась. Посмотрела на ряды коек — туда, где лежали те, кого она штопала, перевязывала, вытаскивала с того света. Те, кого она знала по именам. Те, чьи руки сжимала, когда они умирали. Те, кто выжил — пока что.

Она отдала пару спокойных распоряжений санитарам.

— Воды в третью палату. Перевязочный материал — на стол. Иванова — подготовить к повторной операции, вечером.

Голос — ровный, как всегда. Никто ничего не заметил.

Она отошла к окну — зарешёченному, с мутными стёклами. Встала спиной к палате. Положила руки на подоконник. Сжала пальцы так, что побелели костяшки.

За окном всё так же кружил немецкий разведчик.

Стервятник не улетал. Он знал.

Она стояла так минуту. Или две. Или вечность.

Потом выпрямилась, поправила косынку и пошла к столу — готовить списки эвакуируемых. Тех, кто имел шанс. И тех, кто останется здесь, под бетонными сводами, которые вот-вот взлетят на воздух.

Слёз не было.

Она разучилась плакать ещё в Харбине, когда хоронила отца.

Она отдала распоряжения. Раздала указания. Улыбнулась — нет, не улыбнулась, просто не нахмурилась — одному из раненых, который позвал её слабым голосом.

Всё как всегда.

А потом, словно её ноги сами понесли её, словно тело знало то, чего разум ещё не успел осознать, она повернула к маленькой подсобке. Там, в конце коридора, за облезлой дверью, хранились медицинские принадлежности — бинты, йодоформ, хирургические инструменты, спирт для настоек. Тесное, тёмное, никому не интересное место.

Она зашла внутрь.

И заперла за собой дверь на щеколду.

Здесь, в этом тесном, тёмном пространстве, пахнущем лекарствами, камфорой и вековой пылью, её броня рухнула.

Не треснула. Не дала трещину. Рухнула — вся, сразу, как крепостная стена после прямого попадания тяжелой гаубицы.

Она прислонилась лбом к холодной стене.

Кирпич был шершавым, прохладным, пах сыростью и известкой. Она прижалась к нему лбом, потом щекой, потом всей грудью — так, будто стена могла забрать у неё эту тяжесть. Будто холод мог прижечь ту боль, что жгла изнутри.

И её тело содрогнулось.

Беззвучно. Сухо. Никто не услышал бы этого за дверью — ни санитары, ни раненые, ни случайный прохожий. Это было рыдание без звука, без воздуха, без слёз — одни сухие, мучительные спазмы, раздирающие горло изнутри.

Она не умела плакать. Разучилась. Забыла, как это делается. И теперь её тело плакало вместо неё — этой страшной, беззвучной, конвульсивной дрожью.

Её руки.

Всегда такие твёрдые. Такие умелые. Руки, которые держали скальпель в самые ответственные моменты. Руки, которые не дрогнули, когда она вытаскивала осколок из брюшной полости. Руки, которые перевязывали искалеченные ноги, когда другие отворачивались.

Они начали дико дрожать.

Крупная, неровная дрожь пошла от плеч, спустилась к локтям, охватила запястья. Она сжала их в кулаки — так сильно, что ногти впились в ладони. Из всех сил попыталась остановить тремор.

Бесполезно.

Руки не слушались. Они жили своей жизнью — жизнью тела, которое больше не могло терпеть. Которое надорвалось. Которое держалось слишком долго, слишком крепко, слишком молча.

Это была дрожь не от усталости.

Усталость она умела побеждать — спиртом, крепким чаем, коротким сном вполглаза. Усталость была знакомой, привычной, почти родной.

Это была дрожь от осознания полного краха.

Она понимала.

Не умом — ум уже давно всё просчитал. А чем-то другим, глубже, там, где живут самые страшные правды. Понимала, что это конец не только крепости.

Крепость — это бетон, кирпич, пушки и траншеи. Крепость можно взорвать. Крепость можно отстроить заново.

Это был конец всему, что они с Кириллом построили здесь, в этом аду.

Их общая борьба — когда он уходил на передовую, а она оставалась в лазарете, и каждый из них знал, что другой делает своё дело, не подведёт, не сломается. Их молчаливое понимание — когда слова были не нужны, потому что взгляд, жест, полудвижение говорили больше, чем любые речи. Их любовь — да, любовь, какая бы странная, какая бы невозможная ни каза-

лась она в этих стенах, пропитанных смертью, — любовь, рождённая в руинах, в бомбёжках, в запахе карболки и пороха.

Всё это будет уничтожено.

По приказу из далёкого кабинета. От людей, которые никогда не видели этих стен, не слышали этих стонов, не вдыхали этот воздух. Людей, для которых Осовец был точкой на карте, а не миром, в котором они жили.

Здесь, в этих стенах, она обрела себя.

В Харбине она была чужая — китайка среди русских, женщина среди мужчин, врач среди тех, кто не доверял женщинам-врачам. Здесь, в Осовце, под бомбами, среди крови и грязи, она перестала быть чужой. Она стала просто сестрой Ли. Тем, на кого полагались. Тем, кого уважали. Тем, без кого не могли.

Здесь она обрела свой дом.

Не квартиру. Не комнату. Не место на карте. Дом — как чувство, как состояние души. Дом, где её понимали. Где её принимали такой, какая есть. Без оговорок, без снисходительной улыбки, без «ах, эта китайка, ну что с неё взять».

И здесь она обрела своего человека.

Кирилла. Молчаливого, упрямого, засыпанного известкой и гарью. Того, кто никогда не говорил лишних слов, но чьё присутствие делало всё остальное сносным. Того, кто чертил свои карты, пока она штопала тела, и кто всегда находил время зайти в лазарет — просто чтобы спросить: «Ты как?»

И теперь этот дом приказано стереть с лица земли.

Взорвать. Сжечь. Засыпать щебнем.

Она чувствовала себя так, будто ей приказали самой ампутировать себе часть души. Скальпелем. Без наркоза. Своими собственными, дрожащими, умелыми руками

Она стояла так долго.

Минуту. Десять. Она не знала, сколько времени прошло. В подсобке не было окон, только тусклый свет пробивался сквозь щели в двери.

Постепенно дрожь начала утихать. Не потому, что ей стало легче. А потому, что организм исчерпал ресурс для этой роскоши — для истерики, для слабости, для человеческого «я больше не могу». Ей предстояло вернуться в лазарет. Взять себя в руки. Организовать эвакуацию. Смотреть в глаза тем, кого придётся оставить.

Она выпрямилась. Вытерла лицо — сухое, мокрое от пота, но не от слёз. Поправила косынку. Опустила рукава, прикрыв исцарапанные ладони.

Потом отодвинула щеколду, толкнула дверь и вышла.

В коридоре её ждал санитар с вопросом о перевязочном материале. Она ответила — ровно, чётко, по делу.

Никто ничего не заметил.

Никто никогда не узнал об этих нескольких минутах в тёмной подсобке, где китайская сестра милосердия позволила себе развалиться на части — ровно настолько, чтобы потом снова собрать себя заново.

Она пошла к выходу. Надо было найти Кирилла.

Сказать ему то, что нельзя было говорить в кабинете у генерала. То, что можно сказать только ему. Одному ему.

О том, что их дом приказано уничтожить. И о том, что она ещё не решила, сможет ли пережить это во второй раз.

Неизвестно, сколько прошло времени. Может, минута. Может, десять. В этой тесной, тёмной подсобке время текло иначе — густо, вязко, как йодоформ сквозь вату.

Она глубоко вздохнула.

Не так, как вздыхают в минуту облегчения. А так, как ныряльщик набирает воздух перед погружением в ледяную воду — зная, что следующего вдоха придётся ждать долго, очень долго, и неизвестно, будет ли он вообще.

Выпрямилась.

Спина — струна. Плечи — расправлены. Она жёстко, почти грубо потёрла лицо ладонями — снизу вверх, от подбородка до висков, смывая следы эмоций. Стирая с себя ту, кто только что содрогалась у стены. Возвращая себе ту, кто нужна была сейчас этим стенам, этим людям, этому приказу.

Она опустила руки и посмотрела на них.

Дрожь почти прошла. Осталось лёгкое, едва заметное подрагивание кончиков пальцев — такое, какое бывает после сильного нервного потрясения или после долгого холода. Она сжала их в кулаки, разжала. Ещё раз. Ещё.

Хорошо. Сойдёт.

Она поправила косынку, одёрнула передник — грязный, в застарелых пятнах крови, которые уже не отстирать — и толкнула дверь.

Она вышла из подсобки.

Её лицо снова было спокойной маской профессионала. Та же самая Ли Цзи, которую знали в лазарете: немногословная, собранная, надёжная. Та, у которой руки не дрожали никогда. Та, чей голос звучал ровно даже тогда, когда вокруг рвались снаряды.

Но те, кто знал её близко — кто умел читать в её лице больше, чем она позволяла, — могли бы заметить.

Новую, ледяную жесткость в уголках её губ. Губы были плотно сжаты, без той едва уловимой мягкости, что иногда прорывалась, когда она смотрела на детей-солдат или на стариков-ополченцев.

И небывалую тяжесть во взгляде.

Чёрные глаза, всегда такие живые, такие острые, теперь смотрели откуда-то из глубины. Из колодца. Из той самой пропасти, куда она только что заглянула и из которой выбралась — не вся, не до конца, только чтобы сделать то, что должна.

Она вернулась к работе.

— Шестую палату готовить к эвакуации в первую очередь. Лёгкие — идут с колонной. Тяжёлых — сортировать по возможности транспортировки.

Её команды отдавались с новой, безжалостной эффективностью.

Никаких «пожалуйста». Никаких «если можно». Никаких сомнений в голосе. Только чёткие, рубленые фразы, как удары топора. Санитары, привыкшие к её спокойному тону, на секунду замешкались — что-то изменилось. Что-то стало другим. Но переспрашивать никто не решился.

— Готовить к эвакуации тех, кто может перенести транспортировку. Остальных...

Она замолчала ровно на один удар сердца.

— ...перевести в центральный каземат.

В её голосе не было колебаний. Не было извинений. Не было «простите, я не могу иначе». Только принятый ужас — принятый, переваренный, превращённый в действие. Только последний долг — перед этими людьми, перед их страданиями, перед тем, что ещё можно сделать.

Она знала, что означал перевод в центральный каземат.

Это не было спасением. Это было последним пристанищем для тех, кого не вывезут. Кто останется здесь, под бетонными сводами, когда крепость взлетит на воздух. Кому суждено

умереть не от немецкой пули, а от русского приказа — приказа уничтожить всё, что нельзя вывезти.

Она смотрела на раненых.

На их лица — бледные, землистые, в поту и грязи. На их глаза — мутные от лихорадки, острые от боли, пустые от отчаяния. На их руки — перевязанные, изуродованные, бессильные.

Она знала: для многих из них этот приказ — смертный приговор.

И она, их защитница — та, кто перевязывала их раны, кто держала их руки, когда они умирали, кто шептала слова утешения, которых сама никогда не слышала, — теперь должна была привести его в исполнение.

Это было горше любой немецкой пули.

Немецкая пуля была врагом. От неё можно было защищаться, её можно было ненавидеть, её можно было проклинать. Но этот приказ исходил от своих. От тех, во имя кого она всё это делала. И в этом была особая, изошрённая жестокость — жестокость предательства, которому нельзя дать имя, потому что иначе просто перестанешь дышать.

Она отошла к столу, взяла лист бумаги, огрызок карандаша.

Села. Выпрямила спину.

И начала писать.

Список.

Она составляла его мысленно уже давно — всё это время, пока шла от штаба до лазарета, пока стояла в подсобке, прижавшись лбом к стене, пока отдавала команды. Теперь оставалось только перенести имена на бумагу.

Первым в списке на эвакуацию она поставила его.

Кирилл.

Не по званию. Не по рангу. Не по должности. Просто потому, что без него... без него она не знала, сможет ли дышать после того, как всё это кончится. Если вообще захочет.

Его долг — жить.

Не потому, что он лучше других. Не потому, что его жизнь ценнее жизни солдата из шестой палаты. А потому, что он — тот, кто нужен ей. Кто нужен там, за стенами Осовца, в том мире, куда она не была уверена, что попадёт сама.

Её долг — любой ценой сохранить ему эту жизнь.

Даже ценой уничтожения их общего прошлого. Даже ценой того, что он возненавидит её за этот выбор. Даже ценой собственного безумия.

Она подняла глаза от списка.

В лазарете всё так же стонали, кашляли, молились. Смерть не знала, что крепости приказано сдать. Она продолжала свою работу — так же неумолимо, как Ли Цзи — свою.

Её война получила новую, самую страшную цель.

Она больше не сражалась за победу. Не сражалась за крепость. Не сражалась за Россию.

Она сражалась за право организовать собственную капитуляцию.

За то, чтобы сделать это чисто. Без паники. Без лишней крови. Без тех самых пулевых ранений в спину, которые она так тщательно подсчитывала последние недели.

Она должна была вывести их — тех, кто ещё мог идти — через кольцо, которое вот-вот сомкнётся. Она должна была оставить тех, кто не мог. Она должна была сохранить его.

И она сделает это.

Потому что другого выхода не было. Потому что если бы он был — она бы нашла. Потому что она — Ли Цзи — не умела отступать от того, что считала правильным, даже когда правильного уже не осталось.

Только неизбежное.

Она сложила список, убрала в карман передника и поднялась.

За окном снова кружил немецкий разведчик. Ей показалось, или он стал ниже? Ближе? Наглее?

Она посмотрела на него — спокойно, без ненависти.

— Смотри, — прошептала она одними губами. — Смотри. Это ещё не конец. Исход — да. Но не конец.

И пошла готовить лазарет к последнему, самому страшному дню.

По крепости передали приказ: всему офицерскому составу собраться у штаба через час. Без опозданий. Форма — парадная, насколько это было возможно в условиях осады.

Весть разнеслась мгновенно — быстрее, чем мог бы добежать любой вестовой. По казематам, по траншеям, по артиллерийским дворам. Офицеры бросали карты, доделывали обходы, на ходу застёгивали кителя и поправляли ремни.

Никто не знал, зачем их собирают. Но все чувствовали.

В воздухе висело напряжение — густое, тяжёлое, как смог над заводским районом в безветренный день. Оно заполняло лёгкие, оседало на языке металлическим привкусом, заставляло сердца биться чаще, а мысли — сворачивать в те стороны, куда лучше бы не сворачивать.

Все чувствовали: сейчас произойдёт что-то важное.

Что-то, что переменит всё.

Штабной двор был тесным для такого количества людей. Офицеры стояли плотно — плечо к плечу, в несколько рядов. Разные: молодые подпоручики с ещё необстрелянными глазами и седые полковники, прошедшие не одну кампанию. Артиллеристы, пехотинцы, сапёры, интенданты. Все, кто ещё держал оборону этой умирающей крепости.

Разговоры стихли сами собой. Никто не шутил. Никто не курил. Стояли молча, глядя на дверь штаба, откуда должен был выйти генерал.

Ли Цзи стояла чуть в стороне — не в строю, не среди офицеров, но и не отдельно. Как старший медицинский чин она имела право присутствовать. Но она не стремилась быть в первых рядах. Она выбрала место у стены, где можно было видеть всех — и оставаться незамеченной.

Её лицо было непроницаемой маской.

Та же самая маска, что она надела, выходя из подсобки. Ледяная. Спокойная. Та, за которой ничего нельзя прочитать. Только новый, жёсткий излом губ и тяжесть во взгляде, которую могли заметить лишь самые внимательные.

Она смотрела не на дверь.

Она смотрела на него.

Дверь штаба открылась.

Генерал Бржозовский вышел на крыльцо — медленно, тяжело, как человек, который несёт на плечах не погоны, а весь этот чугунный небосвод, что давил на Осовец последние месяцы. Он был в полной парадной форме — при орденах, при шашке. Но форма висела на нём мешком, а ордена казались лишними, почти насмешливыми.

Его лицо было старше на десять лет.

Глубокие морщины пролегли там, где ещё неделю назад были только складки уставшего, но живого человека. Глаза ввалились. Кожа приобрела землистый оттенок. Он выглядел так, будто не спал не одни сутки — а все эти месяцы, с первого дня осады.

Он не смотрел в глаза своим офицерам.

Он смотрел поверх них — в стену, в небо, в пустоту. Куда угодно, только не в эти десятки пар глаз, полных надежды, тревоги и последнего, умирающего доверия.

Его голос — обычно громовой, командирский, перекрывавший гул канонады, — теперь был глухим и надломленным. Таким голосом читают отходную по усопшим.

Он зачитал приказ Ставки.

Слова падали, как удары молота.

Не быстро. Не медленно. С той жуткой, размеренной чёткостью, которая не оставляет места для надежды. Каждое слово — кирпич в стену, которая вот-вот рухнет на всех них.

«...ввиду стратегической невозможности дальнейшей обороны...»

Первый удар. Кто-то вздрогнул.

«...приказываю гарнизону оставить крепость Осовец...»

Второй. Тишина стала ещё плотнее. Казалось, воздух можно было резать ножом.

«...предварительно уничтожив всё, что не может быть вывезено... артиллерию — взорвать, запасы — сжечь, укрепления — привести в негодность...»

Третий. Четвёртый. Пятый.

Среди офицеров стояла гробовая тишина.

Такая, какая бывает только на кладбище. Или на поле боя — после того, как отгремел последний залп, и ты понимаешь, что выжил, но это почему-то не приносит радости.

А затем тишину разорвали.

Возгласы неверия. Кто-то выкрикнул: «Не может быть!» — и голос его сорвался на фальцет. Возгласы гнева — короткие, хлёсткие, как удары хлыста: «Предательство!», «Продали!», «За что?!». Возгласы отчаяния — низкие, рвущиеся из самой глубины, те, что не стыдно назвать мужскими рыданиями.

Кто-то плакал, отвернувшись к стене, пряча лицо в рукаве шинели. Кто-то кричал, бросая в сторону крыльца слова, за которые в другое время получил бы трибунал. Кто-то просто стоял, открыв рот, и не мог вымолвить ни звука — только смотрел, смотрел, смотрел...

Генерал не пытался их успокоить. Не крикнул «Молчать!», не призвал к порядку. Он стоял на крыльце, опустив голову, и ждал. Потому что понимал: он не имел права лишать их этой минуты. Самой страшной минуты в их жизнях.

Ли Цзи не двигалась.

Она стояла у стены, вжавшись спиной в холодный кирпич, и смотрела.

Но не на Бржозовского. Не на кричащих офицеров. Не на того, кто плакал в углу.

Её взгляд был прикован к Кириллу.

Он стоял во втором ряду — прямой, неподвижный, как скала. Не пробился вперёд, не отступил назад. Просто замер там, где стоял, когда генерал начал читать.

Она видела, как он слушает приказ.

Вот его лицо — спокойное, сосредоточенное, инженерное лицо человека, привыкшего иметь дело с цифрами, чертежами и бетоном. Вот оно начинает меняться — не резко, не сразу, а постепенно, как если бы кто-то медленно поворачивал рубильник, пуская ток по оголённым проводам.

Он не рвал на себе воротник. Не кричал. Не бил кулаком в грудь.

Он замер.

И по его лицу, обращённому к генералу, пробежала тень самых разных чувств — сменяющих друг друга так быстро, что невозможно было уловить момент перехода.

Шок — когда первые слова приказа ударили по сознанию, но разум ещё не успел их переварить. Боль — когда они дошли до сердца, до того самого места, где жила эта крепость, эти люди, эта жизнь. Горечь — когда он понял, что всё, что они строили, защищали, за что умирали, — всё это приказано уничтожить своими же руками.

Ли Цзи смотрела на эту смену эмоций — и внутри у неё всё сжималось.

Она знала, что он чувствует. Потому что сама прошла через это час назад. В подсобке. У стены. В одиночестве.

Но сейчас она видела нечто другое.

Потому что эмоции на его лице не исчезли. Они не растаяли, не рассеялись, не ушли в небытие. Они прошли — сквозь него, сквозь шок, боль и горечь — и на выходе осталось только одно.

Мрачная, стоическая решимость.

Та самая, что отличает настоящих солдат от истериков и паникёров. Не «я выживу любой ценой». Не «я отомщу». А просто — «я сделаю то, что должен. А потом будь что будет».

Его лицо окаменело. Губы сжались в тонкую нитку. Глаза — серые, холодные, как балтийская вода в ноябре — смотрели куда-то сквозь генерала, сквозь штаб, сквозь саму эту минуту.

Он принял приказ.

Он не согласился с ним. Он его не одобрил. Он, возможно, возненавидел его всем своим существом. Но он принял. Потому что другого выбора у него не было. И потому что отказываться от приказа сейчас — значило предать тех, кто ещё жив. Тех, кого ещё можно спасти.

Ли Цзи перевела дыхание.

Она боялась, что он сломается. Что она увидит в его глазах ту пустоту, которую видела в глазах солдат с простреленными спинами. Что он станет одним из тех, кто больше не хочет жить.

Она ошиблась.

Он стал другим. Не сломанным — закалённым. Не пустым — наполненным. Чем-то новым, страшным, но живым.

Она отвернулась. Сделала вид, что поправляет косынку. На самом деле — просто чтобы никто не увидел, как дёрнулся уголок её губ.

Не улыбка. Нет. Скорее — облегчение. Горькое, скудное, почти незаметное. Но — облегчение.

Он выдержит. А значит, и она выдержит.

Вокруг всё ещё кричали, плакали, требовали объяснений. Но Ли Цзи уже не слышала их. Она смотрела на Кирилла — и впервые за этот час ей показалось, что дышать стало чуть легче.

Всего на один вдох.

Потом она снова надела маску и вернулась в лазарет — готовить список эвакуации. Тот самый список, где первой строчкой стояло его имя.

Она смотрела на него — и понимала.

Понимала то, что, возможно, не могли понять другие офицеры, всё ещё выкрикивающие проклятия в адрес Ставки и генералов. Понимала то, что сам Бржозовский, стоя на крыльце с опущенной головой, возможно, чувствовал, но не мог выразить.

Кирилл принимал этот приказ не как предательство.

Он не видел в нём удара в спину — хотя имел на это полное право. Он не кричал о проданной крепости, не рвал на себе волосы, не требовал объяснений.

Он видел в приказе другое.

Последний, самый страшный долг.

Если уж крепость должна умереть — а она должна была, это стало ясно ещё тогда, когда Ли Цзи начала считать пулевые ранения в спину, — то он, её создатель и защитник, должен стать её могильщиком.

Не кто-то со стороны. Не сапёры, которых пришлют из тыла. Не немецкие снаряды, которые сделают своё дело рано или поздно.

Он сам.

Тот, кто чертил её планы. Кто проверял каждый шов, каждый стык, каждый пулемётный мешок. Кто знал каждую трещину в бетоне, каждую сырую стену, каждый слабый угол. Тот, кто называл её не «объектом № 6» и не «укреплённым районом», а просто — «моя крепость».

Он должен был уничтожить её своими руками.

Это был единственный способ сохранить ей верность до конца. Не дезертировать в последний момент. Не отвести глаза, когда взлетят на воздух стены, которые он строил. А самому вставить запал. Самому повернуть рубильник. Самому смотреть, как рушится его мир — кирпич за кирпичом, каземат за казематом, день за днём, прожитым здесь.

Ли Цзи знала это чувство.

Она сама только что пережила нечто похожее — когда поняла, что её долг теперь не спасать, а сортировать. Отбирать, кому жить, а кому остаться под этими сводами навсегда. Быть не целительницей, а палачом — пусть и невольным, пусть по приказу, пусть ради высшей справедливости, но палачом.

Они оба теперь стали могильщиками. Каждый — своего.

Генерал Бржозовский, когда шум немного стих, поднял руку. Не резко, не командирски — устало, тяжело, как поднимают белый флаг.

— Подрывные работы, — сказал он, и голос его снова дрогнул, но он взял себя в руки, — возглавит подполковник Львов. Его приказы в этом вопросе — закон. Прошу беспрекословного подчинения.

Все глаза устремились на Кирилла.

Сотни глаз. Разные — молодые и старые, голубые и карие, полные слёз и сухие, как порох. Но в них было сейчас одно и то же.

Не гнев.

Не злоба.

Не обвинение.

Жалость. И ужас.

Потому что каждый из них — каждый, кто хоть раз стоял под обстрелом, каждый, кто терял товарищей, каждый, кто держал в руках окровавленный бинт, — понимал, что значит для инженера этот приказ. Это было хуже, чем идти в штыковую под обстрелом. Хуже, чем прикрывать отход. Хуже, чем быть оставленным в арьергарде.

Это значило — убить своё дитя.

Кирилл стоял неподвижно. Он чувствовал на себе эти взгляды — сотни взглядов, полных жалости и ужаса. Но не опустил глаз. Не отвёл лица. Не сделал шага назад.

Он молча принял назначение.

Короткий, едва заметный кивок. Ни слова. Ни жеста. Ни одной лишней эмоции.

Его молчание было красноречивее любых речей. Оно говорило: «Я понял. Я сделаю. Не потому, что хочу. А потому, что так надо».

Офицеры расходились молча. Кто-то, проходя мимо, останавливался на секунду — хлопнуть по плечу, сказать что-то невнятное, вроде «держись, брат». Кто-то просто отводил глаза и ускорял шаг. Кто-то — единицы — сжимал зубы и кивал ему, отдавая немую дань уважения.

Кирилл не отвечал. Он стоял и смотрел в одну точку — туда, где на стене штаба висела карта крепости. Его крепости.

Позже они вернулись в свой каземат.

Тот самый, где провели столько часов — молчаливых, тревожных, редких счастливых. Где коптила гильза вместо лампы. Где на столе всегда лежали карты и бинты — символы двух их войн. Где они научились быть не просто союзниками, а чем-то большим.

Сейчас здесь царила тяжёлая, гнетущая тишина.

Не та тишина, что бывает перед боем — напряжённая, звенящая, полная ожидания. И не та, что после — ватная, обессиленная, когда не хватает сил даже дышать.

Это была тишина похорон.

Когда гроб уже заколочен, венки возложены, речи произнесены, и осталось только опустить его в землю. И ты стоишь над краем могилы и понимаешь, что ничего уже не изменить. Никогда.

Кирилл расстелил на столе подробные планы крепости.

Он делал это медленно, аккуратно, почти ритуально. Разгладил края ладонью. Поправил, чтобы листы лежали ровно. Будто не собирался их взрывать через два дня, а готовил к очередному докладу в штаб.

Это были его чертежи

Те самые, в которые он вкладывал душу все эти месяцы. Каждая линия — проведённая ночью при коптилке, когда глаза слипались, но рука не останавливалась. Каждая пометка — выверенная, перепроверенная, исправленная. Каждая цифра — выстраданная, как солдатский паёк в голодный месяц.

Он смотрел на них. Долго. Молча.

На этих листах ещё недавно была жизнь. Его жизнь. План того, как удержать, как не пустить, как выстоять.

Теперь на них предстояло рисовать схемы уничтожения.

Где заложить шашки. Какой заряд нужен, чтобы рухнул капонир. Как соединить детонаторы, чтобы не осталось камня на камне.

Он взял карандаш. Рука не дрожала — только он знал, каких усилий это стоило. Поднёс остриё к бумаге.

И замер.

Ли Цзи стояла у входа в каземат, прислонившись к косяку. Она смотрела на него — на его спину, на его плечи, на его руку с замершим карандашом. На эту бесконечную, вселенскую паузу, в которой уместилась вся его боль.

Она не говорила слов поддержки.

Они были бесполезны. Ни одно слово в русском языке — и в китайском тоже — не могло облегчить то, что он сейчас чувствовал. Ни «всё будет хорошо», потому что не будет. Ни «я с тобой», потому что это и так понятно. Ни «ты сильный», потому что сила тут была ни при чём.

Слова кончились. Остались только дела.

Она молча подошла к столу.

Села напротив — так, чтобы видеть его лицо, но не мешать. Взяла в руки чистый лист бумаги — из тех, что берегла для записей о раненых. И карандаш — огрызок, сточенный почти до пальцев.

Она ничего не сказала.

Она просто положила лист перед собой, взяла карандаш и приготовилась записывать. Его расчёты. Его команды. Его схемы.

Её действия говорили яснее любых слов.

«Мы сделаем это вместе. Как и всё остальное».

Не «я помогу тебе пережить». Не «я поддержу тебя». А просто — «я буду рядом. В этой могиле, которую мы копаем для нашей крепости, я буду рядом. Ты не один. Даже здесь. Даже сейчас. Даже в этом».

Кирилл поднял на неё глаза.

Серые, усталые, пустые — и в то же время полные такой боли, что у неё перехватило дыхание. Он смотрел на неё долго — секунду, две, три. Потом его взгляд упал на её лист, на её карандаш.

И он понял.

Ни слова не сказал. Только кивнул — тем же коротким, едва заметным кивком, каким принял назначение на штабном дворе.

Но в этом кивке было что-то ещё.

Облегчение. И благодарность. И то, чего она не могла назвать даже про себя, потому что это было слишком больно и слишком ценно одновременно.

Он опустил карандаш на чертёж.

— Здесь, — сказал он глухо, указывая на северный форт. — Заряд — сто фунтов. Детонация — с задержкой. Людей отвести за полчаса до взрыва.

Она записывала. Быстро, чётко, без помарок. Её почерк — каллиграфический, харбинский — ложился на бумагу ровными строками.

«Северный форт — 100 фн. Задержка 30 мин. Отвод людей — за 30 мин до Ч.»

Они работали молча. Среди чертёжей, карандашей и схем уничтожения. Двое людей, которые строили эту крепость — один кирпич за кирпичом, другую рана за раной — и теперь должны были сравнять её с землёй.

В каземате было тихо. Только карандаши шуршали по бумаге — сухо, торопливо, неумолимо.

Как счётчик Гейгера в умирающем реакторе.

Как обратный отсчёт перед концом света.

Она работала молча.

Её острый, аналитический ум — тот самый, что позволял ей в считанные секунды рассчитать дозу морфия для умирающего или определить, сколько йодоформа потребуется на завтрашнюю перевязочную, — теперь переключился на иное.

Не на спасение.

На уничтожение.

Она просчитывала схемы подрыва вместе с ним — не как медик, не как сестра милосердия, а как инженер, как тактик, как человек, привыкший держать в голове десятки переменных одновременно. Вес заряда. Глубина закладки. Радиус поражения. Время замедления. Всё это ложилось на бумагу её рукой — чётко, аккуратно, без единой ошибки.

Её пальцы чертили на карте тонкие, чёткие линии.

Красным карандашом — будто кровью, хотя кровь она видела каждый день и знала, что настоящая кровь темнее и гуще. Линии вели от одного форта к другому, от одного каземата к следующему. Схема детонации. Сеть уничтожения.

Каждая такая линия была как нож, режущий по живому.

Потому что за каждой точкой на карте стояло нечто большее, чем просто бетон и кирпич. За каждой стояла память. Их общая память.

Вот здесь — северный капонир. Тот самый, где они укрылись от первого массированного обстрела, когда земля ходила ходуном, а с потолка сыпалась известь, и он заслонил её своим телом, хотя она кричала, что он идиот и что пуля не разбирает, кто кого заслоняет.

Вот здесь — восточный бастион. Там, за толстой стеной, в короткую передышку между бомбёжками, он сказал ей те слова. Негромко, глядя куда-то в сторону, будто извиняясь. «Я... я не знаю, как это называется. Но без тебя я уже не могу». Она тогда не ответила — только сжала его руку. И этого хватило.

Вот здесь — подвальный каземат, переоборудованный под лазарет. Там она выхаживала его после ранения — осколок застрял в плече, близко к артерии, она оперировала сама, потому что другого хирурга не было. Три дня он метался в бреду, а она не спала, сидя рядом, меняя компрессы, считая пульс, молясь всем богам, в которых не верила. На четвёртый он открыл глаза и слабо улыбнулся: «Жив?» — «Жив, — ответила она. — Дурак. Не умирай больше». — «Постараюсь».

Теперь все эти места были отмечены на карте красными крестами.

Не крестами надежды — крестами уничтожения.

Это была самая горькая и самая парадоксальная работа в их жизни.

Они уничтожали то, что спасали.

Ценой невероятных усилий. Ценой крови — своей и чужой. Ценой бессонных ночей, голодных пайков, сорванных голосов, сбитых в кровь ладоней. Ценой здоровья, которое утекало из них по капле вместе с потом, вместе с ужасом, вместе с каждой новой пулей в солдатской спине.

И теперь каждый просчитанный заряд, каждая схема детонации становились надгробием.

Не на могиле крепости — на могиле их общей памяти. Той памяти, которая держала их на плаву все эти месяцы. Той, которая шептала: «Мы не зря. Всё это не зря». А теперь молчала. Потому что «зря» или «не зря» — больше не имело значения.

Оставалось только «надо».

Иногда её рука замирала.

Карандаш останавливался над каким-то участком карты, не дописав линию. Она смотрела на точку — и не могла заставить себя провести черту. Не потому, что не знала, как рассчитать заряд. А потому, что это место было слишком дорогим.

Слишком живым.

Кирилл замечал каждый раз. Он не спрашивал «что случилось?» — потому что знал. Он тоже останавливался над своими чертежами, тоже замирал, глядя на линии, которые сам когда-то нарисовал с такой надеждой.

Он молча клал свою руку поверх её руки.

Шершавая, в мозолях и цементной пыли, которую уже ничем не отмыть. Тёплая. Живая. И кивал.

Один короткий, твёрдый кивок. Без слов. Без «потерпи» или «так надо». Просто — «Надо».

Она понимала. И снова выводила роковую линию.

Красный карандаш послушно ложился на бумагу, соединяя точки, отмечая заряды, фиксируя время. Её рука под его ладонью не дрожала — потому что он не давал ей дрожать.

Их союз достиг в этот момент апогея.

Трагической, почти невыносимой близости.

Они были соучастниками не только в жизни. Не только в спасении. Не только в тех редких, украденных у войны минутах счастья, когда можно было просто сидеть рядом, молчать и чувствовать, что ты не один.

Они стали соучастниками в смерти.

В смерти всего, что их окружало. Крепости. Их дома. Их памяти. Того мира, который они построили — каждый по-своему, но вместе — в этом аду из бетона, крови и железа.

Это была страшная близость. Та, о которой не говорят вслух. Та, которую нельзя объяснить тому, кто не прошёл через неё. Та, после которой либо разбегаются, потому что общая боль становится невыносимой, либо остаются вместе навсегда, потому что ничто другое уже не сможет их разъединить.

Они не разбежались.

Она вела линию за линией. Он просчитывал заряд за зарядом. Их руки соприкасались на карте — там, где красный карандаш встречался с синим, где её тонкие пальцы ложились поверх его широких, грубых ладоней.

В каземате было тихо.

Только карандаши шуршали по бумаге. Только иногда — короткое, едва слышное: «Вот здесь — два заряда, параллельно». — «Записала». И снова тишина.

Тишина похорон.

Тишина, в которой двое хоронили свою крепость. Свою любовь. Свою жизнь.
Кладбищенским тишина.

Но они были в ней вдвоём. И это — пока что — было единственным, что спасало от безумия.

Когда последняя линия была проведена, последний заряд просчитан, Кирилл отодвинул карту.

Не резко — бережно, как отодвигают край одеяла на лице умершего, чтобы взглянуть в последний раз.

Он смотрел на чертежи долго. Потом перевёл взгляд на неё.

— Ты не обязана была это делать, — сказал он тихо. Не «спасибо». Не «прости». Просто — факт. Констатация.

Она покачала головой.

— Обязана, — ответила так же тихо. — Это был и мой дом тоже.

Он закрыл глаза. На секунду. На две.

Когда открыл — в них уже не было боли. Только усталость. И твёрдость. Та самая, что позволяла ему идти вперёд, когда всё вокруг рушилось.

— Тогда завтра — подрыв, — сказал он. — А послезавтра — выход.

Она кивнула.

Завтра они уничтожат свою крепость. Послезавтра попытаются спасти то, что останется от них самих.

Она не знала, получится ли.

Но одно она знала точно: что бы ни случилось, она сделает всё, чтобы в спине у него не оказалось пули.

Потому что спина — это то, что она больше никогда не сможет вылечить.

Она не позволяла ему уйти в отчаяние.

Это было её главной задачей сейчас — не менее важной, чем расчёты зарядов или подготовка раненых к эвакуации. Он стоял на краю — она видела это по тому, как его рука иногда замирала над чертежом, как взгляд уходил в никуда, как плечи опускались чуть ниже, чем позволяла усталость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.